

Солженицын А. В круге первом: Роман. М.: Изд. Эксмо, 2006 (Красная книга русской прозы). 768 с.

С. 113-114. Друга нет и быть не может, но зато весь простой народ любит своего Вождя, готов жизнь и душу отдать. Это и по газетам видно, и по кино, и по выставке подарков. День рождения Вождя стал всенародным праздником, это радостно сознавать. Сколько пришло приветствий! — от учреждений приветствия, от организаций приветствия, от заводов приветствия, от отдельных граждан приветствия. Просила «Правда» разрешения печатать их не все сразу, а по два столбца каждый номер. Ну, растянется на несколько лет, ничего, это не плохо.

А подарки в музее Революции не уместились в десяти залах. Чтоб не мешать москвичам осматривать их днём, Сталин съездил посмотреть их ночью. Труд тысяч и тысяч мастеров, лучшие дары земли, стояли, лежали и висели перед ним — но и тут его настигла та же безучастность, то же угасание интересов. Зачем ему были все эти подарки?.. Он соскучился быстро. И ещё какое-то неприятное воспоминание подступило к нему в музее, но, как часто в последнее время, мысль не дошла до ясности, а осталось только, что — неприятно. Сталин прошёл три зала, ничего не выбрал, постоял у большого телевизора с гравированной надписью «Великому Сталину от чекистов» (это был самый крупный советский телевизор, сделанный в одном экземпляре в Марфине), повернулся и уехал.

А в общем прошёл замечательный юбилей — такая гордость! такие победы! такой успех, какого не знал ни один политик мира! — а полноты торжества не было.

...

Народ-то его любил, это верно, но сам народ кишел очень уж многими недостатками, сам народ никуда не годился. Достаточно вспомнить: из-за кого отступали в сорок первом году? Кто ж тогда отступал, если не народ? Вот почему не праздновать надо было, не лежать, а — приниматься за работу. Думать.

Думать — был его долг. И рок его, и казнь его тоже была — думать. Ещё два десятилетия, подобно арестанту с двадцатилетним сроком, он должен был жить, и не больше же в сутки спать, чем восемь часов, больше не выспишь. А по остальным часам, как по острым камням, надо было ползти, перетягиваться уже не молодым, уязвимым телом.

Невыносимее всего было Сталину время утреннее и полуденное: пока солнце восходило, играло, поднималось на кульминацию — Сталин спал в темноте, зашторенный, закрытый, запёртый. Он просыпался, когда солнце уже спадало, умерялось, заваливало к окончанию своей короткой однодневной жизни. Около трёх часов дня Сталин завтракал и лишь к вечеру, к закату, начинал оживать. Его мозг в эти часы разрабатывался недоверчиво, хмуро, все решения его были запретительные и отрицательные. С десяти вечера начинался обед, куда обычно приглашались ближайшие из политбюро и иностранных коммунистов. За многими блюдами, бокалами, анекдотами и разговорами хорошо убивалось четыре-пять часов, и одновременно брался разгон, собирались толчки для созидательных, законодательных мыслей второй половины ночи. Все главные Указы, направившие великое государство, формировались в сталинской голове после двух часов ночи — и только до рассвета.

И сейчас то время как раз начиналось. И был тот уже зреющий указ, которого ощутимо не хватало среди законов. Почти всё в стране удалось закрепить навечно, все движения остановить, все потоки перепрудить, все двести миллионов знали своё место — и только колхозная молодёжь давала утечку. Это тем более странно, что общие колхозные дела обстояли наглядно хорошо, как показывали фильмы и романы, да Сталин и сам толковал с колхозниками в президиумах слётов и съездов. Однако, проницательный и постоянно самокритичный государственный деятель, Сталин заставлял себя видеть ещё глубже. Кто-то из секретарей обкомов (кажется, его расстреляли потом) проговорился ему, что есть такая теневая сторона: в колхозах безотказно работают старики и старухи, вписанные туда с тридцатого года, а вот несознательная часть молодёжи старается после школы

обманым образом получить паспорт и увильнуть в город. Сталин услышал — и в нём началась подтачивающая работа.

Образование!.. Что за путаница вышла с этим всеобщим семилетним, всеобщим десятилетним, с кухаркиными детьми, идущими в ВУЗ! Тут безответственно напутал Ленин, вот уж кто без оглядки сорил обещаниями, а на сталинскую спину они достались непоправимым кривым горбом. Каждая кухарка должна управлять государством! — как он себе это конкретно представлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать в Облисполком? Кухарка — она и есть кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми — это высокое умение, это можно доверить только специальным кадрам, особо-отобранным кадрам, закалённым кадрам, дисциплинированным кадрам. Управление же самими кадрами может быть только в единых руках, а именно в привычных руках Вождя.

Установить бы по уставу сельхозартели, что как земля принадлежит ей вечно, так и всякий, родившийся в данной деревне, со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почётное право. Сразу — агиткомпанию: «Новый шаг к коммунизму», «юные наследники колхозной житницы»... ну, там писатели найдут, как выразиться.

Но — наши сторонники на Западе?..

Но — кому же работать в колхозах?..

С. 116-139. Безнадёжно народилась эта жизнь. Незаконный сын, приписанный захудалому пьянице-сапожнику. Необразованная мать. Замарашка Сосо не вылезал из луж подле горки царицы Тамары. Не то, чтобы стать властелином мира, но как этому ребёнку выйти из самого низменного, самого униженного положения?

Всё же виновник жизни его похлопотал, и в обход церковных установлений приняли мальчика не из духовной семьи — сперва в духовное училище, потом даже в семинарию.

....

Но клокочущий забиячный возраст требовал действия! Время уходило — не сделано ничего! Не было денег на университет, на государственную службу, на начало торговли — зато был социализм, принимающий всех, социализм, привыкший к семинаристам. Не было склонностей к наукам или к искусствам, не было умения к ремеслу или воровству, не было удачи стать любовником богатой дамы — но открытыми объятьями звала всех, принимала и всем обещала место — Революция.

...

Всякий раз, когда Сталин смотрит на эту фотографию, сердце его переполняется жалостью (ибо не бывает сердец, совсем не способных к ней). Как всё трудно, как всё против этого славного юноши, ютящегося в бесплатном холодном чулане при обсерватории и уже исключённого из семинарии! (Он хотел для страховки совместить то и другое, он четыре года ходил на кружки социал-демократов и четыре года продолжал молиться и толковать катехизис — но всё-таки исключили его.)

...

А Революция — тоже обманула... Да и что то была за революция — тифлисская, игра хвастливых самолюбий в погребках за вином? Здесь пропадёшь, в этом муравейнике ничтожеств: ни правильного продвижения по ступенькам, ни выслуги лет, а — кто кого переболтает. Бывший семинарист возненавидивает этих болтунов горше, чем губернаторов и полицейских. (На тех за что сердиться? — те честно служат за жалованье и естественно должны обороняться, но этим выскочкам не может быть оправдания!) Революция? среди грузинских лавочников? — никогда не будет! А он потерял семинарию, потерял верный путь жизни.

...

Только в Батуме, впервые ведя за собой по улице сотни две людей, считая с зеваками, Коба (такова была у него теперь кличка) ощутил прорастаемость зёрен и силу власти.

Люди шли за ним! — отпробовал Коба, и вкуса этого уже не мог никогда забыть. Вот это одно ему подходило в жизни, вот эту одну жизнь он мог понять: ты скажешь — а люди чтобы делали, ты укажешь — а люди чтобы шли. Лучше этого, выше этого — ничего нет. Это — выше богатства.

Через месяц полиция раскачалась, арестовала его. Арестов никто тогда не боялся: дело какое! два месяца подержат, выпустят, будешь — страдалец. Коба прекрасно держался в общей камере и подбодрял других презирать тюремщиков.

...

Прошёл год! — и его перевели в кутаисскую тюрьму, в тёмную сырую одиночку. Здесь он пал духом: жизнь шла, а он не только не поднимался, но спускался всё ниже. Он больно кашлял от тюремной сырости. И ещё справедливее ненавидел этих профессиональных крикунов, баловней жизни: почему им так легко сходит революция, почему их так долго не держат?

Тем временем приезжал в кутаисскую тюрьму жандармский офицер, уже знакомый по Батуму. Ну, вы достаточно подумали, Джугашвили?

...

А офицер с пшеничными усами приезжал и приезжал. (Его жандармский чистый мундир с красивыми погонами, аккуратными пуговицами, кантами, пряжками очень нравился Иосифу.) В конце концов то, что я вам предлагаю, — есть государственная служба. (На государственную бы службу бесповоротно был готов перейти Иосиф, но он сам себе, сам себе напортил в Тифлисе и Батуме.) Вы будете получать от нас содержание. Первое время вы нам поможете среди революционеров. Изберите самое крайнее направление. Среди них — выдвигайтесь. Мы повсюду будем обращаться с вами бережно. Ваши сообщения вы будете давать нам так, чтоб это не бросило на вас тени. Какую изберём кличку?.. А сейчас, чтобы вас не расконспирировать, мы этапирруем вас в далёкую ссылку, а вы оттуда уезжайте сразу, так все и делают.

И Джугашвили решился! И третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию!

...

Теперь для него начался долгий период безнаказанности: он встречался с подпольщиками, составлял листовки, звал на митинги — арестовывали других (особенно — несимпатичных ему), а его — не узнавали, не ловили. И на войну не брали.

И вдруг! — никто не ждал её так быстро, никто её не подготовил, не организовал — а Она наступила! Пошли по Петербургу толпы с политической петицией, убивали великих князей и вельмож, бастовал Ивано-Вознесенск, восставали Лодзь, «Потёмкин» — и быстро из царского горла выдавили манифест, и всё равно ещё стучали пулемёты на Пресне и замерли железные дороги.

...

Обманула его охранка!.. Третья ставка его была бита! Ах, отдали б ему назад его свободную революционную душу! Что за безвыходное кольцо? — вытрясать революцию из России, чтоб на второй её день из архива охранки вытрясли твои донесения?

...

В это время большевики усваивали хороший революционный способ эксов-экспроприации. Любому армянскому толстосуму подбрасывали письмо, куда ему принести десять, пятнадцать, двадцать пять тысяч. И толстосум приносил, чтоб только не взрывали его лавку, не убивали детей. Это был метод борьбы — так метод борьбы! — не схоластика, не листовки и демонстрации, а настоящее революционное действие. Чистюли-меньшевики брюзжали, что — грабёж и террор, противоречит марксизму. Ах, как издевался над ними Коба, ах, гонял их как тараканов, за то и назвал его Ленин «чудесным грузином»! — эксы — грабёж, а революция — нэ грабёж? ах, лакированные чистоплюи! Откуда же брать деньги на партию, откуда же — на самих революционеров? Синица в руках лучше журавля в небе.

Изо всей революции Коба особенно полюбил именно эсы. И тут никто кроме Кобы не умел найти тех единственных верных людей, как Камо, кто будет слушаться его, кто будет револьвером трясти, кто будет мешок с золотом отнимать и принесёт его Кобе совсем на другую улицу, без принуждения. И когда выгребли 340 тысяч золотом у экспедиторов тифлисского банка — так вот это и была пока в маленьких масштабах пролетарская революция, а другой, большой революции ждут — дураки

...

А революция уже возила его европейскими поездами, морскими пароходами, показывала ему острова, каналы, средневековые замки. Это была уже не вонючая кутаисская камера! В Таммерфорсе, Стокгольме, Лондоне Коба присматривался к большевикам, к одержимому Ленину. Потом в Баку подышал парами подземной этой жидкости, кипящего чёрного гнева.

А его берегли. Чем старше и известнее в партии он становился, тем ближе его ссылали, уже не к Байкалу, а в Сольвычегодск, и не на три года, а на два. Между ссылками не мешали крутить революцию.

...

Но февральским вечером девятьсот двенадцатого года приехал к нему в Вологду из Праги младший бакинский его сотоварищ Орджоникидзе, тряс за плечи и кричал:

«Сосо! Сосо! Тебя кооптировали в ЦК!» В ту лунную ночь, клубящую морозным туманом, тридцатидвухлетний Коба, завернувшись в доху, долго ходил по двору. Опять он заколебался. Член ЦК! Ведь вот Малиновский — член большевистского ЦК — и депутат Государственной Думы. Ну, пусть Малиновского особо любит Ленин. Но ведь это же при царе! А после революции сегодняшний член ЦК — верный министр. Правда, никакой революции теперь уже не жди, не при нашей жизни. Но даже и без революции член ЦК — это какая-то власть. А что он выслужит на тайной полицейской службе? Не член ЦК, а мелкий шпик. Нет, надо с жандармерией расставаться. Судьба Азефа как призрак-великан качалась над каждым днём его, над каждой его ночью.

...

Теперь он перенёс нажим на партийную работу. Ездил к Ленину в Краков (это не было трудно и ссыльному). Там какая типография, там маёвка, там листовка — и на Калашниковской бирже, на вечеринке, завалили его (Малиновский, но это узналось потом гораздо). Рассердилась Охранка — и загнали его теперь в настоящую ссылку — под Полярный Круг, в станок Курейка. И срок ему дали — умела царская власть лепить безжалостные сроки! — четыре года, страшно сказать.

...

Но ещё он не научился скатывать шинельной скатки и заряжать винтовку (ни комиссаром, ни маршалом потом тоже не знал, и спросить было неудобно), как пришли из Петрограда телеграфные ленты, от которых незнакомые люди обнимались на улицах и кричали в морозном дыхании: «Христос воскрес!» Царь — отрёкся! Империи — больше не было!

...

Не запомнить, когда так единодушно веселилось русское общество, все партийные оттенки. Но чтобы возликовал Сталин, нужна была ещё одна телеграмма, без неё призрак Азефа, как повешенный, всё раскачивался над головой.

И пришла через день та депеша: Охранное отделение сожжено и разгромлено, все документы уничтожены!

Знали революционеры, что надо было сжигать побыстрей. Там, наверно, как понял Сталин, было немало таких, немало таких, как он...

...

Февральской революции Сталин позже отказал в звании великой, но он забыл, как сам ликовал и пел, и нёсся на крыльях из Ачинска (теперь-то он мог и дезертировать!), и делал глупости и через какое-то захолустное окошечко подал телеграмму в Швейцарию Ленину.

В Петроград он приехал и сразу согласился с Каменевым: вот это оно и есть, о чём мы мечтали в подполье. Революция совершилась, теперь укреплять достигнутое. Пришло время положительных людей (особенно, если ты уже член ЦК). Все силы на поддержку временного правительства!

Так всё ясно было им, пока не приехал этот авантюрист, не знающий России, лишённый всякого положительного равномерного опыта, и, захлёбываясь, дёргаясь и картавя, не полез со своими апрельскими тезисами, запутал всё окончательно! И таки заговорил партию, потащил её на июльский переворот! Авантюра эта провалилась, как верно предсказывал Сталин, едва не погибла и вся партия. И куда же делась теперь петушиная храбрость этого героя? Убежал в Разлив, спасая шкуру, а большевиков тут марали последними ругательствами. Неужели его свобода была дороже авторитета партии? Сталин откровенно это высказал им на Шестом съезде, но большинства не собрал. Вообще, семнадцатый год был неприятный год: слишком много митингов, кто красивей врёт, того и на руках носят, Троцкий из цирка не вылезал.

...

Над ним смеялись эти остробородки, но почему наладили всё тяжёлое, всё неблагоприятное сваливать именно на Сталина? Над ним смеялись, но почему во дворце Кшесинской все животами переболели и в Петропавловку послали не кого другого, а именно Сталина, когда надо было убедить матросов отдать крепость Керенскому без боя, а самим уходить в Кронштадт опять? Потому что Гришку Зиновьева камнями бы забросали матросы. Потому что уметь надо разговаривать с русским народом.

Авантюрой был и октябрьский переворот, но удался, ладно. Удался. Хорошо. За это можно Ленину пятёрку поставить. Там что дальше будет — неизвестно, пока — хорошо. Наркомнац? Ладно, пусть. Составлять конституцию? Ладно. Сталин приглядывался.

Удивительно, но похоже было, что революция за один год полностью удалась. Ожидать этого было нельзя — а удалась! Этот клоун, Троцкий, ещё и в мировую революцию верил, Брестского мира не хотел, да и Ленин верил, ах, книжные фантазёры!

...

Верно, у Ленина был орлиный полёт, он мог просто удивить: за одну ночь повернул — «земля — крестьянам!» (а там посмотрим), в один день придумал Брестский мир (ведь не то, что русскому, даже грузину больно пол-России немцам отдать, а ему не больно!). Уж о НЭПе совсем не говори, это хитрей всего, таким манёврам и поучиться не стыдно.

Что в Ленине было выше всего, сверхзамечательно: он крепчайше держал реальную власть только в собственных руках. Менялись лозунги, менялись темы дискуссий, менялись союзники и противники, а полная власть оставалась только в собственных руках!

Но не было в этом человеке — настоящей надёжности, предстояло ему много горя со своим хозяйством, запутаться в нём. Сталин верно чувствовал в Ленине хлипкость, перебросчивость, наконец плохое понимание людей, никакое не понимание.

....

Да если бы был у Ленина настоящий трезвый ум, он бы с первых дней ближе всех приблизил Сталина, он бы сказал: «Помоги! Я политику понимаю, классы понимаю — живых людей не понимаю!» А он не придумал лучше, как заслать Сталина каким-то уполномоченным по хлебу, куда-то в угол России. Самый нужный был ему в Москве человек — Сталин, а он его в Царицын послал... И на всю Гражданскую Ленин устроился сидеть в Кремле, он себя берёт. А Сталину досталось три года кочевать, по всей стране гонять, когда трястись верхом, когда в тачанке, и мёрзнуть, и у костра греться.

...

Конечно, сабли он в руки не брал и под пули не лез, он дороже был для Революции, он не мужик Будённый. А приедешь в новое место — в Царицын, в Пермь, в Петроград, — помолчишь, вопросы задашь, усы поправишь. На одном списке напишешь «расстрелять», на другом списке напишешь «расстрелять» — очень тогда люди тебя уважать начинают.

...

Вся эта шайка, которая наверх лезла, Ленина обступала, за власть боролась, все они очень умными себя представляли, и очень тонкими, и очень сложными. Именно сложностью своей они бахвалились. Где было дважды два четыре, они всем хором галдели, что ещё одна десятая и две сотых. Но хуже всех, но гаже всех был — Троцкий. Просто такого мерзкого человека за всю жизнь Сталин не встречал.

....

А однажды получил Сталин суровый урок, что не все средства в борьбе хороши, что есть запретные приёмы: вместе с Зиновьевым они пожаловались в Политбюро на самоуправные расстрелы Троцкого. И тогда Ленин взял несколько чистых бланков, по низам расписался «одобряю и впредь!» — и тут же при них Троцкому передал для заполнения.

Наука! Стыдно! На что жаловался?! Нельзя даже в самой напряжённой борьбе апеллировать к благодущию. Прав был Ленин, и в виде исключения также и Троцкий прав: если без суда не расстреливать — вообще ничего невозможно сделать в истории.

...

По роду работы, если её правильно понять, если отдать ей душу и не щадить своего здоровья, должен был теперь Сталин тайно (но вполне законно) собирать уличающие материалы на всех ответственных работников, посылать контролёров и собирать донесения, а потом руководить чистками.

...

Так постепенно выправилось и положение с Троцким — сперва поддержкой Зиновьева, потом и Каменева. (Душевные создались отношения с ними обоими.) Уяснил себе Сталин, что с Троцким он зря волновался: такого человека, как Троцкий, никогда не надо в яму толкать, он сам попрыгает и свалится. Сталин знал своё, он тихо работал: медленно подбирал кадры, проверял людей, запоминал каждого, кто будет надёжный, ждал случая их поднять, передвинуть. Подошло время — и, точно! свалился Троцкий сам на профсоюзной дискуссии — набелибердил, наегозил, Ленина разозлил — партию не уважает! — а у Сталина как раз готово, кем людей Троцкого заменять: Крестинского — Зиновьевым, Преображенского — Молотовым, Серебрякова — Ярославским. Подтянулись в ЦК и Ворошилов, и Орджоникидзе, все свои. И знаменитый главнокомандующий зашатался на журавлиных своих ножках. И понял Ленин, что только Сталин один за единство партии как скала, а для себя ничего не хочет, не просит.

...

И когда стал Ильич болеть — избрали Сталина генеральным секретарём, как когда-то Мишу Романова на царство, потому что никто его не боялся.

Это был май 1922 года. И другой бы на том успокоился, сидел бы — радовался. Но только не Сталин.

...

Первая идея была — отослать Ленина например на Кавказ, лечиться, там воздух хороший, места глухие, телефона с Москвой нет, телеграммы идут долго, там его нервы успокоятся без государственной работы. А приставить к нему для наблюдения за здоровьем — проверенного товарища, экспроприатора бывшего, налётчика Камо. И соглашался Ленин, уже с Тифлисом переговоры вели, но как-то затянулось. А тут Камо автомобилем раздавили (много болтал об эксгах).

Тогда, беспокоясь за жизнь вождя, Сталин через Наркомздрав и через профессоров-хирургов поднял вопрос: ведь пуля невынутая — она отравляет организм, надо ещё одну операцию делать, вынимать. И убедил врачей. И все повторяли, что надо, и Ленин согласился — но опять затянулось. И всего-навсего уехал в Горки.

«По отношению к Ленину нужна твёрдость!» — написал Сталин Каменеву. И Каменев с Зиновьевым, его лучшие в то время друзья, полностью соглашались. Твёрдость в лечении, твёрдость в режиме, твёрдость в отстранении от дел — в интересах его же драгоценной

жизни. И в отстранении от Троцкого. И Крупскую тоже обуздать, она рядовой партийный товарищ. «Ответственным за здоровье товарища Ленина» назначился Сталин и не считал это для себя чёрной работой: заняться непосредственно лечащими врачами и даже медсестрами, указывать им, какой именно режим полезней всего для Ленина: ему полезней всего — запрещать и запрещать, даже если поволнуется.

....

Однако, несмотря на все усилия Сталина, Ленин плохо выздоравливал, болезнь его затянулась до осени, а тут ещё спор обострился насчёт ЦИКа-ВЦИКа, и не надолго сумел дорогой Ильич подняться на ноги. Только и встал для того, чтобы в декабре 22-го года восстановить сердечный союз с Троцким — против Сталина, конечно. Так для этого и вставать не надо было, лучше опять лечь. Теперь ещё строже врачебный догляд, не читать, не писать, о делах не знать, кушай манную кашку. Придумал дорогой Ильич тайком от генсека написать политическое завещание — опять против Сталина. По пять минут в день диктовал, больше ему не разрешали (Сталин не разрешил). Но генеральный секретарь смеялся в усы: стенографистка тук-тук-тук каблучками, и приносила ему обязательную копию. Тут пришлось ещё Крупскую одёрнуть, как она заслужила, — закипятился дорогой Ильич — и третий удар! Так не помогли все усилия спасти его жизнь.

...

Но от Ленина осталось завещание. От него у товарищей мог создаться разнобой, непонимание, даже хотели Сталина снимать с генсека. Тогда ещё тесней подружился Сталин с Зиновьевым, он ему так доказывал, что очевидно тот будет теперь вождь партии, и пусть на XIII съезде делает отчёт от ЦК, как будущий вождь, а Сталин будет скромный генсек, ему ничего не нужно. И Зиновьев покрасовался на трибуне, сделал доклад (только и всего доклад, куда ж его и кем выбирать, такого нет поста — «вождь партии»), а за тот доклад уговорил ЦК — завещания на съезде даже не читать, Сталина не снимать, он уже исправился.

...

Хорошо ли было Каменеву оставаться вместо Ленина предсовнаркома? (Ещё когда вместе с Каменевым посещали больного Ленина, Сталин отчитывался в «Правде», что он ходил без Каменева, один. На всякий случай. Он предвидел, что Каменев тоже не вечен.) Не лучше ли — Рыкова? И сам Каменев согласился, и Зиновьев тоже, вот так дружно жили! Но скоро большой удар пришёлся по их дружбе: обнаружилось, что Зиновьев-Каменев — лицемеры, двурушники, что они только к власти стремятся, а ленинскими идеями не дорожат. Пришлось их поджечь. Они стали «новая оппозиция» (и болтушка Крупская полезла туда же), а Троцкий битый-битый пока присмирел. Это очень удобное создалось положение. Тут кстати большая сердечная дружба наступила у Сталина с милым Бухарчиком, первым теоретиком партии. Бухарчик и выступал, Бухарчик базу подводил и обоснования (те дают — «наступление на кулака!», а мы с Бухариным даём — «смычка города с деревней!»). Сам Сталин нисколько не претендовал на известность, ни на руководство, он только следил за голосованием и кто на каком посту. Уже многие правильные товарищи были на нужных постах и правильно голосовали. Сняли Зиновьева с Коминтерна, отобрали у них Ленинград.

И кажется бы им смириться, так нет: они теперь с Троцким объединились, спохватился и тот кривляка в последний раз, дал лозунг: «индустриализация». А мы с Бухарчиком даём — единство партии! Во имя единства все должны подчиниться! Сослали Троцкого, заткнули Зиновьева с Каменевым.

Тут ещё очень помог ленинский набор: теперь большинство партии составляли люди, не заражённые интеллигентщиной, не заражённые прежними склоками подполья и эмиграции, люди, для которых уже ничего не значила прежняя высота партийных лидеров, а только их сегодняшнее лицо. Из партийных низов поднимались здоровые люди, преданные люди, занимали важные посты. Сталин никогда не сомневался, что он таких найдёт, и так они спасут завоевания революции.

Но какая роковая неожиданность: Бухарин, Томский и Рыков оказались тоже лицемеры, они не были за единство партии! И Бухарин оказался — первый путаник, а не теоретик. И его хитрый лозунг «смычка города с деревней» скрывал в себе реставраторский смысл, сдачу перед кулаком и срыв индустриализации!..

...

А какие вы были умы — это вы на процессах показали. Сталин сидел на галерее в закрытой комнате, через сеточку смотрел на них, посмеивался: что за краснобаи были когда-то! что за сила когда-то казалась! и до чего дошли? размокли как.

...

И правда: кто в гражданскую войну хоть батальоном командовал, хоть ротой в частях, не верных Сталину, — все куда-то уходили, исчезали. И делегаты Двенадцатого, и Тринадцатого, и Четырнадцатого, и Пятнадцатого, и Шестнадцатого, и Семнадцатого съездов как просто бы по спискам — уходили туда, откуда не проголосуешь, не выступишь. И дважды чистили смутьянский Ленинград, опасное место. И даже друзьями, как Серго, приходилось жертвовать. И даже старательных помощников, как Ягода, как Ежов, приходилось потом убирать. Наконец, и до Троцкого дотянулись, раскроили череп. Не стало главного врага на земле и, кажется, заслужена была передышка? Но отравила её Финляндия. За это срамное топтание на перешейке просто стыдно было перед Гитлером — тот по Франции с тросточкой прогулялся! Ах, несмываемое пятно на гении полководца! Этих финнов, насквозь буржуазную враждебную нацию, эшелонами отправлять бы в Кара-Кумы до маленьких детей, сам бы у телефона сидел, сводки записывал: сколько уже расстреляли-закопали, сколько ещё осталось.

А беды сыпались и сыпались просто навалом. Обманул Гитлер, напал, такой хороший союз развалили по недоумию! И губы перед микрофоном дрогнули, сорвались «братья и сестры», теперь из истории не вытравишь. А эти братья и сестры бежали как бараны, и никто не хотел постоять насмерть, хотя им ясно было приказано стоять насмерть. Почему ж — не стояли? почему — не сразу стояли?!.. Обидно.

И потом этот отъезд в Куйбышев, в пустые бомбоубежища... Какие положения осваивал, никогда не сгибался, единственный раз поддался панике — и зря. Ходил по комнатам — неделю звонил: уже сдали Москву? уже сдали? — нет, не сдали!! Поверить нельзя было, что остановят — остановили! Молодцы, конечно. Молодцы. Но многих пришлось убрать: это будет не победа — если пронесётся слух, что Главнокомандующий временно уезжал. (Из-за этого пришлось седьмого ноября небольшой парад зафотографировать.) А берлинское радио полоскало грязные простыни об убийстве Ленина, Фрунзе, Дзержинского, Куйбышева, Горького — городи выше! Старый враг, жирный Черчилль, свинья для чохохбия, прилетал позлорадствовать, выкурить в Кремле пару сигар. Изменили украинцы (была такая мечта в 44-м: выселить всю Украину в Сибирь, да некем заменить, много слишком); изменили литовцы, эстонцы, татары, казаки, калмыки, чечены, ингуши, латыши — даже опора революции латыши! И даже родные грузины, обережённые от мобилизаций — и те как бы не ждали Гитлера! И верны своему Отцу остались только: русские да евреи.

Так даже национальный вопрос посмеялся над ним в те тяжёлые годы...

Но, слава Богу, миновали и эти несчастья. Многое Сталин исправил тем, как переиграл Черчилля и Рузвельта-святошу. От самых 20-х годов не имел Сталин такого успеха, как с этими двумя растяпами. Когда на письма им отвечал или в Ялте в комнату к себе уходил — просто смеялся над ними. Государственные люди, какими же умными они себя считают, а — глупее младенцев. Всё спрашивают: а как будем после войны, а как? Да вы самолёты шлите, консервы шлите, а там посмотрим — как. Им слово бросишь, ну первое проходное, они уже радуются, уже на бумажку записывают. Сделаешь вид — от любви размягчился, они уже — вдвое мягкие. Получил от них ни за так, ни за понюшку: Польшу, Саксонию, Тюрингию, власовцев, красновцев, Курильские острова, Сахалин, Порт-Артур, пол-Кореи, и запутал их на Дунае и на Балканах. Лидеры «сельских хозяев» побеждали на

выборах и тут же садились в тюрьму. И быстро свернули Миколайчика, отказало сердце Бенеша, Масарика, кардинал Миндсенти сознался в злодеяниях, Димитров в сердечной клинике Кремля отрёкся от вздорной Балканской Федерации.

И посажены были в лагеря все советские, вернувшиеся из европейской жизни. И — туда же на вторые десять лет все отсидевшие только по разу.

Ну, кажется всё начинало окончательно налаживаться!

И вот когда даже в шелесте тайги не расслышать было о каком-нибудь другом варианте социализма — выполз чёрный дракон Тито и загородил все перспективы.

Как сказочный богатырь, Сталин изнемогал отсекал всё новые и новые вырастающие головы гидры!..

....

Ничуть не мешал Сталину доживающий где-то Керенский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай Второй или Колчак — против всех них Сталин не имел личного зла: открытые враги, они не изворачивались предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм.

Лучший социализм! Иначе, чем у Сталина! Сопляк! Социализм без Сталина — это же готовый фашизм!

С. 146. И доверился он одному только человеку — единственному за всю свою безошибочно-недоверчивую жизнь. Перед всем миром этот человек был так решителен в дружелюбии и во враждебности, так круто развернулся из врагов и протянул дружескую руку. Это не был болтун, это был человек дела.

И Сталин поверил ему!

Человек этот был — Адольф Гитлер.

С одобрением и злорадством следил Сталин, как Гитлер чехвостила Польшу, Францию, Бельгию, как самолёты его застигали небо над Англией. Молотов приехал из Берлина перепуганный. Разведчики доносили, что Гитлер стягивает войска к востоку. Убежал в Англию Гесс. Черчилль предупредил Сталина о нападении. Все галки на белорусских осинах и галицийских тополях кричали о войне. Все базарные бабы в его собственной стране пророчили войну со дня на день. Один Сталин оставался невозмутим. Он слал в Германию эшелоны сырья, не укреплял границ, боялся обидеть коллегу.

Он верил Гитлеру!..

Едва-едва не обошлась ему эта вера ценою в голову.

Тем более теперь он окончательно не верил никому!